

“ЛЮБВИ, НАДЕЖДЫ, ТИХОЙ СЛАВЫ...”: К ВОПРОСУ ОБ АВТОРСТВЕ, АДРЕСАТЕ И ДАТИРОВКЕ СТИХОТВОРЕНИЯ¹

© 2009 г. Д. П. Ивинский

Статья посвящена анализу литературных и биографических фактов, связанных с проблемой авторства, адресата и датировки стихотворения “Любви, надежды, тихой славы...”, которое обычно печатается под заглавием “К Чаадаеву”, датируется 1818 г. и уверенно атрибутируется А.С. Пушкину. Между тем состояние источников на сегодняшний день таково, что данная практика не может считаться ни единственно правильной, ни наиболее обоснованной.

The author of the article analyzes literary and biographical facts related to issues of the authorship, addressee, and dating of the poem “Of love, and hope, and quiet glory...” usually published under the title “To Chaadayev”, dated 1818 and attributed unequivocally to Alexander Pushkin. However, the sources available now show that this practice can hardly be recognized as either the only correct or the most substantiated one.

Речь пойдет об одном из самых известных стихотворений Пушкина, ставшем неотъемлемой частью не только пушкинского, но и “декабристского” мифов, включенном во все школьные и университетские программы и антологии, во все сборники “русской вольнолюбивой лирики”. Оно печатается под заглавиями “К Чаадаеву” или “К Чаадаеву” и обычно датируется 1818 годом [1, т. 2, с. 35].

Первые опыты публикации стихотворения были предприняты М.А. Бестужевым-Рюминым (см. о нем: [2, с. 380–382; 3; 4]). В 1826 г. фрагмент пьесы был процитирован в его очерке «Следствие комедии “Горе от ума”», составленном в условной форме переписки грибоедовского Чацкого с приятелем:

“Утомленный печалью, исполненный какого-то особенного предчувствия, с каким-то особенным нетерпением я жду чего-то лучшего.

Нетерпеливою душой
Я жду, с томленьем упования,
Как ждет любовник молодой
Минуты верного свиданья.

Не думай, чтоб я сделался стихотворцем, если в сих прекрасных стихах Пушкина заменен² мною роковой <sic>, заветный стих, собственным, не-

значущим. Это только для рифмы. Не имея способностей для сего искусства, я, не только чтоб сам решился писать стихи, но, с некоторого времени, потерял даже прежнюю охоту читать их, и если читаю, то не более трех или четырех из наших Поэтов” [5, с. 31–32].

Через три года Бестужев-Рюмин счел нужным напечатать стихотворение уже “полностью”, а вместе с тем подтвердить значимость своей догадки о том, как должен читаться “пропущенный стих”:

К N.N.

Любви, надежды, тихой славы
Недолго нежил нас обман,
Исчезли юныя забавы,
Как дым, как утренний туман!
Но в нас еще кипят желанья:
Нетерпеливою душой
Мы ждем, с томленьем упования,
Подруги, сердцу дорогой,
Как ждет любовник молодой
Минуты тайного свиданья.
Пока надеждою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг! отчизне посвятим
Души прекрасные порывы...

[6, с. 50] (Подп.: “Ап.”).

Данный текст был растиражирован составителями песенников, перепечатавших его четырежды [7, с. 71 (№ 643), с. 86 (№ 752), с. 102 (№ 919), с. 126 (№ 1117)].

Автограф пьесы не сохранился, Пушкиным она не печаталась, и уже поэтому вряд ли целесообразно настаивать на возможности ее уверенной атрибуции и датировки: ведь в нашем распоряже-

¹ Основные положения данной работы, представляющей собой фрагмент готовящейся к печати монографии “Пушкин и декабристы”, были изложены нами в курсе лекций “А.С. Пушкин: Жизнь и творчество” (филологический факультет МГУ, 2007), а также в докладах на научных конференциях “Ломоносовские чтения” (филологический факультет МГУ, 2006) и “Современные проблемы текстологии” (Институт масс-медиа РГГУ, 2008).

² А нам кажется, пропущены <слова>: “Подруги, сердцу дорогой”. Изд.<атель>. <Примеч. М.А. Бестужева-Рюмина>.

нии, кроме публикаций Бестужева-Рюмина, только некоторое количество списков, причем степень авторитетности большей их части неизвестна. Впервые данные проблемы обстоятельно обсуждались М.Л. Гофманом [8, с. 119–127; 9], полагавшим пушкинское авторство стихотворения недоказанным. Наблюдения Гофмана и его основные выводы не были приняты большинством пушкинистов по нескольким причинам³. Во-первых, свой анализ проблемы авторства стихотворения он сопровождал ни на чем, в сущности, не основанной попыткой атрибутировать его К.Ф. Рылееву, помешавшей многим его читателям более внимательно отнестись к другим его суждениям и наблюдениям. Во-вторых, не только профессиональная репутация Гофмана неоднократно ставилась под сомнение, но и его личная порядочность (см., напр.: [11, с. 41–44]). В-третьих, после того, как он эмигрировал из Советской России, он фактически оказался вычеркнут из советского пушкиноведения⁴. Но как бы ни относились мы к Гофману и его историко-литературным трудам, это не освобождает нас от анализа тех проблем, которые некогда привлекли его внимание. Между тем в новейшем комментарии ни проблема авторства данного произведения, ни проблема его адресата специально не обсуждаются [1, т. 2(1), с. 35, 544–550] (комментарий И.С. Чистовой), и, как представляется, неоправданно.

Во-первых, если мы считаем данный текст пушкинским, то необходимо объяснить, почему Пушкин, причем при совершенно разных обстоятельствах, категорически свое авторство отрицал.

Первый раз – в черновом и беловом набросках заметки о публикации семи стихотворений в альманахе Бестужева-Рюмина “Северная звезда” (1829) за подписью Ап., которую читателям нетрудно было “расшифровать” как “А.П.<ушкин>” (издатель же всегда мог заявить, что на самом деле подпись должна читаться как “Анопуте”) и под заглавиями К N.N. (“Любви, надежды, тихой славы...”), “Элегия” (“О ты, которая издетства...”), “К приятелю, сравнивавшему глаза одной девицы с южными звездами”, “Будущая эпитафия” (“Здесь П<ушкин> погребен...”),

³ Впрочем, Б.В. Томашевский не включил “Любви, надежды, тихой славы...” в первое издание своего известного “однотомника” [10], а М.А. Цявловский в собраниях сочинений Пушкина 1931 и 1934 гг. печатал стихотворение в разделе “Dubia”.

⁴ Весьма показательным в этом отношении представляется редакторское примечание в том выпуске сборника “Недра”, в котором были напечатаны статья Гофмана “Пушкин и Рылеев” и ответная, Л.П. Гроссмана: “Сборник, со статьей М. Гофмана, к сожалению, был уже отпечатан, когда редакции стало известно, что статьи, подписанные М. Гофманом, тоже о Пушкине, появились в белогвардейских изданиях. Факт сотрудничества в эмигрантской прессе, хотя бы даже и по академическим вопросам, закрывает отныне Гофману доступ на страницы советской печати” [12, с. 210].

“К ***”, отсоветовавшему мне вступить в военную службу” (“О ты, который сочетал...”), “К<авери>ну” (“Забудь, любезный мой К.....н...”), “К Ю<рьев>у” (“Любимец ветреных Лаис...”) [6, с. 50, 65, 161–162, 174, 235–236, 295–296, 305–306]; в предисловии к альманаху упоминалось о большем количестве присланных текстов, из которых отбирались напечатанные. Вот интересующий нас фрагмент пушкинской заметки, датируемой предположительно ноябрем 1829 г.:

“Неуважение к литературной собственности сделалось так у нас обыкновенно, что поступок г-на Б.<естужева> ни мало не показался мне странным. <...> Но когда аль<манах> нечаянно попался мне в руки, и когда в предисловии прочел <я> нежное изъявление благодарности издателя г-ну Ап., доставившему ему (г. Б.<естужеву>) п<иесы>, из коих 5 и удостоились печати – то признаюсь удивление мое было чрезвычайно. В числе пьес, доставленных г-ном Ап., некоторые принадлежат мне в самом деле; другие мне вовсе неизвестны. Г-н Ап. собрал давно писанные и мною к п<ечати> не предназначенные стихотворения и снисходительно заменил своими стихами те, кои не могли быть пропущены цензурою. Однако, как в мои лета и в моем положении неприятно отвечать за свои пре<жние> <?> и за чужие произведения, то честь имею объявить г-ну Ап., что при первом таковом же случае принужден буду прибегнуть к покровительству законов” [13, т. 11, с. 82] (подготовка текста Б.В. Томашевского).

У Пушкина были все основания заявить о вмешательстве Бестужева-Рюмина в тексты напечатанных им стихотворений. В самом деле, искажениям подверглись послания “К Каверину” (“Забудь, любезный мой Каверин...”) [1, т. 1, с. 391], “Юрьеву” (“Любимец ветреных Лаис...”) и “Орлову” (“О ты, который сочетал...”) [14, т. 2, с. 31, 100 вт. паг.] (комментарий В.Е. Якушкина); “Моя эпитафия” стала “Будущей эпитафией” (впрочем, и все остальные стихотворения Пушкина Бестужев-Рюмин напечатал под произвольными заглавиями); в стихотворении “Ее глаза” (“Она мила, скажу меж нами...”), которое автор, конечно, не желал видеть в печати, имя А.А. Олениной было заменено условным [15, т. 2, с. 430].

К альманаху Бестужева-Рюмина Пушкин вернулся в “Опыте отражения некоторых нелитературных обвинений”, сочинявшемся не ранее осени 1830 г.:

«Кстати: начал я писать с 13-летнего возраста и печатать почти с того же времени. Многое желал бы я уничтожить, как недостойное даже и моего дарования, каково бы оно ни было. Иное тяготее, как упрек, на совести моей... По крайней мере не должен я отвечать за перепечатание грехов моего отрочества, а тем паче за чужие проказы. <...> Г-н Бестужев, в предисловии какого-то

альманаха, благодарит какого-то г-на Ап. за до-
ставление стихотворений, объявляя, что не все
удостоились напечатания.

Сей г-н Ап. не имел никакого права распола-
гать моими стихами, поправлять их по-своему и
отсылать в альманах г. Бестужева вместе с соб-
ственными произведениями стихи, преданные
мною забвению или написанные не для печати
(например, “Она мила, скажу меж нами”), или ко-
торые простительно мне было написать на 19 го-
ду, но непростительно признать публично в воз-
расте более зрелом и степенном (например, “По-
сание к Юрьеву”)» [16, т. 6, с. 333] (подготовка
текста Ю.Г. Оксмана).

Как видим, упоминая о приписанных ему чу-
жих произведениях, Пушкин дважды употребляет
множественное число, из чего следует, что этих по-
следних не могло быть в публикации Бестужева ме-
нее двух. Всего в нее вошли семь пьес, о пяти мы
точно знаем, что они пушкинские, шестая (“Элегия”
[“О ты, которая издетства...”]) представляла собой
фрагмент элегии князя П.А. Вяземского “Негодо-
вание”, седьмая, т.е. вторая, вероятно, не принад-
лежащая Пушкину, – “Любви, надежды, тихой
славы...” (подробнее см.: [8, с. 119–122; 17, с. 122–
130; 9, с. 198–200]).

Показательно, что именно о пяти отобранных
для печати стихотворениях Пушкин говорит и в
своем памфлете “Альманашик” (1830), направ-
ленном все на того же Бестужева-Рюмина: “Уви-
дишь, как пойдет наш Альманах: с моей стороны
даю 34 стихотворения; под пятью подпишу
А. П.<ушкин>, под пятью другими Е. Б.<аратын-
ский>, под пятью еще К.<нязь> П. В.<яземский>.
Остальные пушу без подписи; в предисловии буду
благодарить господ поэтов, приславших нам свои
стихотворения” [13, т. 11, с. 137]. Этот тоекрат-
ный повтор упоминания о пяти стихотворениях
выдает неподдельное раздражение Пушкина, чье
авторское самолюбие было, конечно, чувстви-
тельно задето уже самим фактом упоминания Бе-
стужевым-Рюминым об отборе “присланных” к
нему стихотворений (надо думать, не все они по-
казались альманашику достойными печати). Но
повтор этот еще и косвенное, но весомое под-
тверждение пушкинской искренности: он мог за-
ставить своего героя назвать любое число стихо-
творений, которые тот намеревался подписывать
именами известных поэтов, но остановился имен-
но на пяти, поскольку отчетливо помнил, что
именно пять его стихотворений были напечатаны
в “Северной Звезде”.

Еще раз Пушкин отказался от авторства
“Любви, надежды, тихой славы...” в беседе с
Н.Д. Киселевым, которую тот пересказал позд-
нее А.О. Смирновой-Россет: «Тогда я сделал дол-
гую прогулку с Пушкиным вокруг озера, а потом
мы прошли в комнаты, где вы жили в первом эта-

же, и Пушкин сказал мне: “Здесь я проводил са-
мые приятные вечера у фрейлинки Россет, как ее
называли придворные лакеи. Сперва я с женой
катались в парных дрожках, которые называли
ботиками, я сидел на перекладине и пел им песню,
божусь тебе – не моего сочинения:

Царь наш – немец русский,
Царствует он где же?
Всякий день в манеже.
Школы все казармы,
Судьи все жандармы,
А Закревский баба,
Управляет в Або,
А другая баба – начальником штаба.

И эти стихи не мои:

Россия вспрынет ото сна
И на обломках самовластья
Напишут наши имена”» [18, с. 511].

Нет никаких оснований подозревать Киселева в
мистификации или Пушкина в недоверии к Кисе-
леву: в этом последнем случае Пушкин вряд ли
стал бы читать ему стихи государственных пре-
ступников К.Ф. Рылеева и А.А. Бестужева; вме-
сте с тем, Пушкину не нужно было отрицать соб-
ственное авторство второго стихотворения и в
том случае, если он предсудительственно рассчи-
тывал на разговорчивость Киселева: оно, в отли-
чие, например, от “Гавриилиады” или элегии
“Андрей Шенье”, не попадало в поле зрения вла-
стей.

Во-вторых, если мы считаем данный текст по-
сланием Пушкина к Чаадаеву, то, конечно, долж-
ны уметь объяснить и упоминание о “юных заба-
вах”, которые, видимо, у автора и адресата были
общими, и слово “товарищ”, которое в пушкин-
ское время обычно служило обращением к одно-
кашникам, к товарищам школьным, а не, так ска-
зать, общественно-политическим.

Пушкин, вчерашний школьник, в стихах своих
называет Чаадаева, с которым, насколько извест-
но, так и не перешел на “ты”, на которого смот-
рел снизу вверх (по крайней мере, в конце деся-
тых годов), офицера с опытом боевых действий,
товарищем? И наставляет его, побуждая верить в
грядущее крушение самовластия? Это совершенно
невероятно.

Впервые на несовместимость содержания пье-
сы с ее атрибуцией как послания к Чаадаеву обра-
тил внимание Ю.Н. Щербачев в 1913 г. [19, с. 117–
118], его книга была замечена, ссылки на нее не-
редко встречаются и в новейшем академическом
издании Пушкина, но именно эти наблюдения ис-
следователя оказались обойдены молчанием.

Впрочем, видимо, все же не без их влияния бы-
ла предпринята единственная известная мне по-
пытка спасти версию о Чаадаеве как адресате
стихотворения, основанная на анализе его текста:

«В послании “К Чаадаеву”» сопоставлены две системы ценностей, два отношения к жизни, две линии поведения. В нем как бы противостоят друг другу два человеческих единства, два значения слова “мы”. В первой строфе – это лицейское сообщество, люди, которых объединили в стенах Лицея судьба, случай. Их близость возникла из общих условий жизни, сердечной привязанности, из увлечения “юными забавами”. Это “мы” объединяет Пушкина и Дельвига, Пушкина и Малиновского, а не Пушкина и Чаадаева. Постепенно такая общность переходит в стихотворении в единство иного рода, единство идейное и гражданское, основанное на преданности свободе и отчизне. Это новое единство охватывает Пушкина, Чаадаева и всех тех, кто, подобно им, ждет “с томленьем упования минуту вольности святой” [20, с. 283].

Итак, понимая, что начало стихотворения, если оно принадлежит Пушкину, может звучать адекватно лишь в “лицейском” контексте и при этом не ставя под сомнение пушкинское авторство, исследователь вынужден предположить, что различные части пьесы имеют различную адресацию: первое четверостишие обращено к лицам, последующие стихи – к Чаадаеву.

Однако на самом деле коммуникативная структура “Любви, надежды, тихой славы...” едина и не претерпевает никаких изменений по мере развертывания текста.

В самом деле, когда именно Пушкин, оставляя лицеистов, начинает говорить к Чаадаеву? Во втором четверостишии? Но оно теснейшим образом связано с первым, поскольку развивает тему духовно-эмоционального состояния автора и адресата. В третьем? Но оно, опять-таки, подхватывает тему второго. Четвертое четверостишие отсылает одновременно к содержанию трех первых: вновь возникают темы времени (“Пока свободой горим...”), отчизны (“Мой друг, отчизне посвятим...”) и свободы (“Пока свободой горим...”). Эти повторы, с одной стороны, производят впечатление избыточных, с другой – подчеркивают смысловое единство всей конструкции. Наконец, финальное пятистишие, в котором выражается надежда на светлое будущее, перекликается с предыдущим, ср. прямые обращения к адресату: “Мой друг, отчизне посвятим...” и “Товарищ, верь, взойдет она...”. Последовательность развития мысли автора стихотворения, таким образом, сводится в конечном счете к следующему: мимолетная юность осталась позади (первое четверостишие) – но мы внеземлем призывному голосу отчизны (второе четверостишие) – и ждем свободы (третье четверостишие) – пока время не изменило нас, посвятим себя служению отечеству (четвертое четверостишие) – и в будущем, когда самовластие будет побеждено, нас ждет признание потомков (заключительное пятистишие).

Итак, перед нами единое высказывание, в котором каждый последующий элемент с необходимостью вытекает из предыдущего, и это единство дополнительно подчеркнуто системой местоимений в форме множественного числа, пронизывающих весь текст (*нас – в нас – мы – наши*). Никаких указаний на то, что в начале стихотворения эти местоимения “объединяют” одних людей, а в конце других, в тексте нет.

Оснований считать “Любви, надежды, тихой славы...” посланием Пушкина к Чаадаеву, в сущности, всего два⁵: наличие многочисленных списков стихотворения с указанием этих имен [13, т. 2(2), с. 551, 1043; 1, т. 2(1), с. 161, 544–546], а также очевидные, как казалось и кажется многим комментаторам, переклички его текста с бесспорно принадлежащим Пушкину посланием к Чаадаеву 1824 г.:

Чаадаев, помнишь ли бывшее?
Давно ль с восторгом молодым
Я мыслил имя роковое
Предать развалинам иным?
Но в сердце, бурями смиренном,
Теперь и лень, и тишина,
И, в умиленьи вдохновенном,
На камне, дружбой освященном,
Пишу я наши имена. [13, т. 2(1), с. 364]

Данные списков не могут ни переоцениваться, ни недооцениваться. С одной стороны, они свидетельствуют о существовании устойчивой традиции атрибуции Пушкину данного произведения, с другой же, за отсутствием автографов, не устанавливают факт пушкинского авторства бесспорно, а лишь позволяют считать обоснованной гипотезу о пушкинском авторстве (ср. [9, с. 197]).

Второе основание атрибуции представляется существенно менее основательным, однако тре-

⁵ Не рассматриваем как существенный факт публикации пьесы Герценом под заглавием “Послание к Чаадаеву” и с атрибуцией Пушкину [21, вып. 2, с. 10]. Во-первых, нам до сих пор не известно происхождение списков стихотворений Пушкина, оказавшихся в распоряжении лондонского изгнанника; мы только знаем, что он долго и поначалу безуспешно разыскивал их (см., напр., его письма к М.К. Рейхель от 7/19 февраля, 31 марта/12 апреля, 6/18 апреля, 28 мая/9 июня, 13/25 августа, 6/18 ноября. 13/27 декабря 1853 г., 23 марта/4 апреля 1854 г., 16/28 июля 1855 г. и др. [22, т. XXV, с. 22, 50, 53, 70, 97, 131, 143, 167, 286]). Во-вторых, у Герцена был вполне конкретный повод назвать адресатом пушкинского послания именно Чаадаева: незадолго до выхода в свет второй книжки “Полярной Звезды” в Лондон пришло известие о смерти басманного философа (книжка открылась некрологом), значимость которой должна была подчеркнуть публикация адресованного именно ему пушкинского послания: таким образом имена первого поэта и едва ли не первого нашего философа скреплялись друг с другом в контексте “декабристского” вольномыслия. Показательно, что Н.П. Огарев, в 1861 г. перепечатавший герценовский вариант “Любви, надежды, тихой славы...” [23, с. 15], спустя десять лет отрицал пушкинское авторство стихотворения [9, с. 205].

бует обсуждения. В самом деле, до сих пор единственным серьезным опытом описания “цитат” из “Любви, надежды, тихой славы...” в послании 1824 г. остается предпринятый Л.П. Гроссманом в полемической статье, напечатанной в качестве послесловия к [9]; с тех пор вопрос не пересматривался, поскольку считался решенным “окончательно”, а ссылки на статью Гроссмана сделались ритуально обязательными. Поэтому уместно напомнить текст Гроссмана:

«Полагаем, что связь эта <между “Любви, надежды, тихой славы...” и “К Чаадаеву” [1824]> очевидна. В момент второго послания Пушкин отошел от безудержной революционной восторженности своего недавнего прошлого – он во многом стал спокойнее и скептичнее. Это новое настроение и выражается во 2-м послании. Все оно построено на противополжении возникшей сердечной лени и тишины прежнему “восторгу молодому” и мятежной отваге. Из этого противопоставления двух крайних настроений явственно выступает первое обращение к Чаадаеву (т.е. наше спорное послание).

Вспомним окончание послания к Чаадаеву 1820 г.⁶ <...>. Вопрос, поставленный в начале этого заключения (“давно ль с восторгом молодым я мыслил имя роковое предать развалинам иным?”) явно указывает на первое послание. Здесь, как и во всем стихотворении, – противопоставление первому посланию. Теперь перед поэтом развалины храма Дианы, где происходили трогательные эпизоды классической дружбы Ореста и Пилада:

На сих развалинах свершилось
Святое дружбы торжество...

В первом же случае говорилось об “обломках самовластья”, т.е. отнюдь не идиллических руинах. Это и подчеркивается во 2-м послании в стихах о предании “рокового” имени (конечно, носителя самовластья) “развалинам иным” (обломкам трона).

Параллелизм антитезы углубляется и далее: в 1818 г. Пушкин мечтал видеть “наши имена” (т.е. свое и Чаадаева) написанными воспрянувшей от спячки революционной Россией “на обломках самовластья” – теперь же с ленью и тишиной в сердце, даже с чувством умиления –

На камне, дружбой освященном,
Пишу я наши имена.

⁶ Долгое время данное стихотворение датировалось 1820-м годом на том основании, что именно этот год выставил сам Пушкин при публикации в сборниках своих стихотворений [24, с. 162–163; 25, т. I, с. 97–98] и при первой публикации пьесы [26, с. 4]. Датировка стихотворения 1824-м г., сейчас общепринятая, обусловлена его положением в рабочей тетради Пушкина [27, с. 196–197]; см. также: [13, т. 2(2), с. 1150]; впрочем, не все комментаторы признавали значимость данного источника (см., напр.: [14, т. 2, с. 330–331 вт. паг.] (примеч. В.Е. Якушкина).

В первом случае – обломки, обвеянные вихрем борьбы, во втором – камень, дружбой освященный. В 1818 году – бурная устремленность в будущее, в 1820 – уход в легендарное прошлое: политическим перспективам грядущего противопоставлено идиллическое видение античности. Сложная и точная система противопоставлений обнаруживает теснейшую связь обоих посланий.

Не ясно ли, наконец, что определение второго послания “с восторгом молодым я мыслил имя роковое предать развалинам иным” относится, действительно, к восторженным строфам 1-го стихотворения:

Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души высокие порывы
и проч.

Стоит прочесть без предубеждения весь отрывок 2-го послания “Чаадаев <так!>, помнишь ли бывшее?”, чтоб совершенно непререкаемо увидеть в нем точное изложение Пушкиным а contrario своего первого послания к Чаадаеву» [12, с. 213–214].

Как представляется, в этом тексте немало уязвимых утверждений.

Во-первых, исследователь слишком часто и в ущерб своему анализу материала апеллирует к читательскому восприятию, навязывая или, как минимум, подсказывая ему “правильное” понимание проблемы (“связь” между двумя текстами “очевидна”, “не ясно ли, наконец”, “стоит прочесть без предубеждения <...>, чтоб совершенно непререкаемо увидеть”): риторический прием не всегда уместен в тексте, претендующем на научное значение.

Во-вторых, сопоставляя “второе” послание с “первым”, Гроссман исходит из того, что иных источников у “второго” послания нет и быть не может. Но откуда это, собственно, следует? Ведь во времена Гроссмана не было, как нет и сейчас, описания системы литературных и биографических подтекстов стихотворения. В самом деле, почему подтекстом слов “Я мыслил имя роковое / Предать развалинам иным” объявляется именно литературный текст? В конце концов, между “я мыслил” и “я писал” разница существенная. Разве не мог Пушкин иметь в виду, например, какой-то свой оставшийся неизвестным нам разговор с Чаадаевым?

В-третьих, Гроссман как будто забывает, что вопрос о межтекстовых переключках не всегда непосредственно связан с вопросом об авторстве этих текстов. Допустим, что факт цитирования установлен бесспорно. Но из этого ведь еще не следует, что автором текста-источника и текста, в котором обнаружены отсылки к этому источнику, был один и тот же человек. Действительно, разве полемика, которую ведет Пушкин, проти-

вопоставляя сердечную лень прежним надеждам, должна быть непременно автополемикой и не может относиться к чужому тексту, некогда более соответствовавшему пушкинскому настроению, чем в момент работы над “вторым” посланием?

И еще одно немаловажное обстоятельство. Кажется, не отмечалось, что “Любви, надежды, тихой славы...” и “К Чаадаеву” соотнесены по принципу зеркальной симметрии. В первом стихотворении автор прощается с наивным юношеским упованием на “тихую славу” и обретает некий идеал патриотического служения, во втором прежнему наивному “молодому восторгу” противопоставляется нынешняя “сердечная тишина”. Круг замыкается: концовка второй пьесы фактически совпадает по смыслу с началом первой и *новое* мировосприятие оказывается *старым*. Совпадение, впрочем, неполное: в одном случае склонность к тишине объясняется недостатком жизненного опыта, в другом – его избытком; таким образом история жизни героя пьесы выявляет большую адекватность некогда отвергнутого мировосприятия. Такое построение, действительно, может восприниматься как аргумент в пользу пушкинского авторства: оказавшись в кризисной ситуации, поэт соотносит разные периоды своей жизни, пересматривая свои представления об их ценности. Но такое построение может объясняться и полемическим переосмыслением чужого текста, оказавшегося по каким-то причинам соотнесенным с историей *своей* жизни.

В-четвертых, совершенно недостаточной представляется предложенная Гроссманом трактовка строк “Я мыслил имя роковое / Предать развалинам иным”: это “имя роковое”, он считает, является, “конечно”, именем “носителя самовластья”, а “развалины иные” оказываются под его пером “обломками трона”. Между тем перед нами наименее проясненный фрагмент пушкинского текста, интерпретация которого затруднительна уже по той причине, что он был рассчитан на восприятие Чаадаева, которое мы, конечно, представляем себе в лучшем случае очень и очень приблизительно. Впрочем, кое-что мы все же вправе утверждать с некоторой определенностью.

“Имя роковое” – это, прежде всего, имя самого поэта, который *некогда* желал “предать” его *иным* руинам, т.е. не тем, которые созерцает *ныне* и на которых пишет свое имя и имя адресата своего послания.

Но почему свое имя он считает роковым? Насколько можно судить, подразумевается каламбурная связь имени Пушкина с именем его гонителя, императора Александра I.

Этот каламбур Чаадаеву было, конечно, несложно разгадать. Но каламбурно “двоющимся” оказывается в этом случае и смысл всей фразы:

если один ее подтекст – начертание имени поэта на условных “обломках самовластья”, то другим может быть, видимо, только тот замысел царевубийства, который обдумывался Пушкиным и обсуждался им с Чаадаевым весной 1820 г. (см. об этом: [28, с. 86–87; 29, с. 171–177]).

Этим мы должны ограничиться: фактических оснований для более убедительных интерпретаций пушкинского текста нет.

Так выясняются два обстоятельства.

Прежде всего, тот “параллелизм антитезы”, о котором рассуждал Л.П. Гроссман, не описывает и не охватывает в полной мере несоответствий между “Любви, надежды, тихой славы...” и “К Чаадаеву”: тема царевубийства в подтексте первого из этих стихотворений неразличима.

Далее, если мы признаем “Любви, надежды, тихой славы...” пушкинским текстом, весьма проблематичной оказывается его датировка 1818-м годом, когда ни о каком судьбоносном конфликте поэта и царя не могло быть и речи.

Но в любом случае нам придется отдать себе отчет в том, что текст “Любви, надежды, тихой славы...” *не разъясняет смысла тех именно строк позднейшего стихотворения, которые воспринимаются исследователями как указание на него*. Поэтому перед нами, в сущности, подтекст неочевидный, даже необязательный: *мы не вправе настаивать на значимости цитаты, если не можем доказательно разъяснить ее смысл, а вместе с тем и смысл текста, в который она включена*.

* * *

Итак, “общепринятая” атрибуция “Любви, надежды, тихой славы...” как послания Пушкина к Чаадаеву остается недоказанной, хотя и не может быть отвергнута окончательно. Поэтому целесообразно рассмотреть иные возможности интерпретации данного текста, каждая из которых в свою очередь при нынешнем состоянии источников останется чисто гипотетической, но в то же время и сохранит некоторую степень правдоподобия.

Вариант первый: послание Пушкина к Дельвигу

Данная версия, выдвинутая еще Ю.Н. Щербачевым [19, с. 113–119], поддерживается, во-первых, самим фактом наличия ряда списков пьесы, в которых она озаглавлена “К Дельвигу”. Новейшее издание сочинений Пушкина фиксирует пять таких списков [1, т. 2(2), с. 544–546], прежнее учитывало шесть [13, т. 2(2), с. 1044]. Это гораздо меньше, чем списков с именем Чаадаева как адресата стихотворения, но специалистам прекрасно

известно, что количественное преобладание какой-то версии текста не свидетельствует само по себе о ее аутентичности (допустим, какой-то текст был переписан четыре раза правильно, а один раз неправильно, но для дальнейшего распространения по каким-то случайным или не случайным причинам была избрана эта неправильная пятая копия, которая была переписана пятьдесят раз, и все эти списки с нее сохранились, а от правильной версии сохранилось только пять копий; любой текстолог скажет, имея в виду подобные случаи, что правильное решение может быть принято не “большинством голосов”, а лишь на основании результатов критики текста). Более существенно, что некоторые из этих списков восходят к ближайшему окружению Пушкина, к Каверину и Щербину [19, с. 118].

Во-вторых, данная версия снимает все недоумения, связанные с лицейским колоритом начала стихотворения и с обращением “товарищ”.

В-третьих, лицейский, а не чаадаевский контекст пьесы поддерживается фактом цитирования ее А.Д. Илличевским в его стихотворении, написанном на лицейскую годовщину 1822 г. Вот этот фрагмент, варьирующий 13 и 14 стихи “Любви, надежды, тихой славы...” (курсив наш):

*Доколе сердце в нас свободно
И чести внятен строгий глас,
Дадим же руки ежегодно*

Мы освящать сей день меж нас. [30, с. 223–224]

В-четвертых, косвенным образом, она подкрепляется тем фактом, что в тексте “Любви, надежды, тихой славы...” обнаруживаются чрезвычайно любопытные отсылки к дельвиговской “Прощальной песни воспитанников Императорского Царскосельского Лицея” (1817). Все опорные мотивы двух пьес идентичны: тема быстротечности времени в обоих случаях сочетается с упоминаниями о преходящей тишине (“Любви, надежды, тихой славы / *Недолго* нежил нас обман, / Исчезли юные забавы, / Как сон, как утренний туман”; ср.: “Шесть лет *промчались, как мечтанье, / В объятьях сладкой тишины*” [31, с. 364–365]; данные стихи повторяются в “Прощальной песни” четыре раза) и юности (“Исчезли юные забавы”; ср.: “Ты сам нас *юных* съединил” [31, с. 364]); в обоих пьесах особое место занимают упоминания об Отечестве, голосу которого внемлют лицеисты (“Нетерпеливою душой / *Отчизны внемлем призыванье*”; ср.: “И уж *Отечества призыванье* / Гремит нам” [31, с. 364–365]; данная формула фигурирует у Дельвига в начале и в конце стихотворения; ср. еще: “О мать! *Вняли мы призыванью!*” [31, с. 364]); наконец, общим является мотив сердечного жара (“Но в нас горит еще желанье”; ср.: “Кипит в груди младая кровь”; “Ту ж дружбу с тою же душой! / То ж к правде пылкое стремленье” [31, с. 364, 365]).

Как видим, есть все основания рассматривать “Прощальную песнь...” как основной подтекст “Любви, надежды, тихой славы...”: вряд ли в данном случае речь может идти о случайном совпадении. Следовательно, адресатом этого последнего стихотворения мог быть только лицеист, хорошо знавший “Прощальную песнь...” и в первую очередь, конечно, ее автор. Во всяком случае, у нас нет оснований полагать, что Чаадаев проявлял хоть какой-то интерес к лицейской поэзии и что у автора послания были какие-то основания надеяться на то, что в литературном сознании Чаадаева присутствует выпускная лицейская песнь.

Но возможна и иная интерпретация этой ориентированности послания на “Прощальную песнь...”: оно принадлежало Дельвигу.

Вариант второй: послание Дельвига к Пушкину

Уязвимость данного предположения в том, что в настоящее время оно не может быть подкреплено какими-либо документальными свидетельствами, а самого факта межтекстовых перекличек, о которых только что шла речь, недостаточно. И все же есть некоторые косвенные данные в его пользу.

Как представляется, не должен игнорироваться факт чрезвычайной близости текста “Любви, надежды, тихой славы...” к стихотворению, вышедшему из круга “Священной артели” и озаглавленному “К артельным друзьям”. Вот интересующий нас фрагмент этого произведения:

Друзья! вот стон души моей,
Скорбящей, одинокой:
Мечта златая ранних дней
Еще от нас далеко!
Еще в тумане скрыта цель
Возлюбленных желаний!
Кто ж благотворную артель,
Источник всех мечтаний,
Высоких чувств и снов златых,
Для щастия отчизны,
Кто, в шуме радостей пустых,
Мне заменит в сей жизни?
Я с вами – и в душе горит
Добра огонь священный;
Без вас – иной все кажет вид,
Столь низкий, столь презренный!

Но час пробьет: услышим мы
Отечества призыванье!
Тогда появится из тьмы
Душ пламенных желанье:
Сплетенные рука с рукой,
На путь мы ступим жизни,
И пылкой полетим душой

Ко щастию отчизны.
И кто возможет положить
Преграды нам в полете?
Кто для отчизны алчет жить,
Тот выше бедствий в свете. [32, с. 542–544]

Как видим, здесь налицо те же мотивы дружеского единства, сна, тумана, желаний, мечтаний, огня души, служения отчизне, счастья, что и в “Любви, надежды, тихой славы...”; “общим” является и противопоставление прошлого и будущего, причем в обоих случаях будущее ассоциируется с деятельностью союза друзей (ср.: [33, с. 160]). Автор стихотворения – Петр Иванович Колошин (1794–1849), вступивший в “Священную артель” в конце 1815 г.; точной датировке оно не поддается: известно только, что не могло быть написано ранее лета 1817 г., когда его автор узнал о служебном переводе из Петербурга в Москву и неминуемой разлуке с либеральными друзьями [34, с. 27]. Еще один текст Колошина, как минимум, сопоставимый с “Любви, надежды, тихой славы...”, – “Артельная песнь”, посвященная Н.Н. Муравьеву и отосланная к нему из Петербурга в Москву при письме от 15 июня 1817 г., вероятно, была написана незадолго до этой даты [35, с. 252–253]: “общими” оказываются мотивы дружбы, огня души, гражданского служения, отечества, чести, грядущего счастья.

Как известно, в “Священной артели” состоял Дельвиг, а не Пушкин, а потому именно Дельвигу, а не Пушкину, о знакомстве которого с литературной продукцией этого общества и с Колошиным ничего не известно, в первую очередь должны были стать известными послание “К артельным друзьям” и “Артельная песнь”. Вероятно, не случайно пьеса Колошина обнаруживает сходство не только с “Любви, надежды, тихой славы...”, но и с “Прощальной песнью...” Дельвига, написанной в апреле – мае 1817 г. (скорее всего, в первой половине мая), которая вполне могла стать известной Колошину до завершения его послания. В самом деле, в стихотворении Дельвига читается: “И уж *отечества призванье* / Гремит нам: шествуйте, сыны! / Прощайтесь, братья, руку в руку!”. Ср. в послании Колошина: “Но час пробьет: услышим мы / *Отечества призванье*! / Тогда появится из тьмы / Душ пламенных желанье: / Сплетенные рука с рукой, / На путь мы ступим жизни”. Повторяющаяся формула “отечества призванье”, как видим, в обоих случаях сочетается с мотивами служения отечеству, шествия, сплетения рук.

Но дело не только в том, что “Любви, надежды, тихой славы...” включено именно в дельвиговский литературный и биографический контекст: оно абсолютно не соответствует тональности пушкинской политической лирики петербургского периода. Действительно, в нем (по непонятным нам при-

чинам данное обстоятельство до сих пор не отмечалось) преобладает безусловно оптимистический гражданский пафос, которого нет ни в оде “Вольность”, ни в “Noël. Сказки”, ни в “Деревне”, ни в каком бы то ни было ином политическом стихотворении Пушкина 1817–1820 гг.

Вариант третий: коллективное послание к Пушкину

Теперь вернемся к тексту “Любви, надежды, тихой славы...”: он вряд ли может считаться твердо установленным. Как известно, в ряде копий стихотворения, в том числе едва ли не наиболее авторитетных, содержится, как принято считать, заведомо искаженный его текст, отличающийся от общепринятого, главным образом, двумя дополненными стихами (выделяем их курсивом):

Любви, надежды, тихой славы
Недолго нежил нас обман,
Исчезли юные забавы,
Как сон, как утренний туман;
Но в нас горит еще желанье,
Под гнетом власти роковой
Нетерпеливою душой
Отчизны внемлем призыванье.
*Питай, мой друг, священный жар –
И искра делает пожар!*
Мы ждем с томленьем упованья
Минуты вольности святой,
Как ждет любовник молодой
Минуты верного свиданья.
Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!
Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!

Такое чтение дает сборник П.А. Александрова ([1, т. 2(1), с. 546]; краткое описание сборника: [13, т. 2(2), с. 1012; 1, т. 2(1), с. 439–440]; см. также: [11, с. 79, 243]), который не рассматривается редакцией нового академического издания сочинений Пушкина как авторитетный источник пушкинского текста [1, т. 2(1), с. 547]. Если это действительно так (а для такого вывода оснований у нас не больше, чем во многих других случаях, когда в качестве источников текста фигурируют копии, о происхождении которых, в сущности, ничего не известно), сборник сохраняет свое значение важного свидетельства о характере бытования некоторых пушкинских произведений, в особенности занимающего нас в данной работе, в более или менее широком читательском кругу.

Но такое же чтение дают наиболее осведомленные знатоки литературного творчества Пушкина: оно обнаруживается и в тетради П.И. Бартенева, и в сборнике М.Н. Лонгинова – С.Д. Полторацкого [13, т. 2(2), с. 1044; 1, т. 2(1), с. 546], всегда включавшихся в ряд важнейших источников пушкинского текста.

Наконец, такое же чтение дает копия, оставшаяся в бумагах П.Я. Чаадаева [20, с. 281; 1, т. 2(1), с. 545]. И если мы продолжаем считать его адресатом послания, а вместе с тем и печатать это послание без двух указанных строк, то тогда приходится признать, что он хранил у себя дефектный его список, который не правил, то ли не придавая ему значения, то ли считая его аутентичным. Так или иначе, у нас нет никаких сведений о том, что Чаадаев воспринимал “Любви, надежды, тихой славы...” как стихотворение, ему адресованное⁷.

Копия из архива Чаадаева поздняя; происхождение ее, в сущности, неизвестно. Можем лишь предположить, что она восходит к тому же источнику, что и бартеньевский и лонгиновский списки: во всех трех копиях (а также в копии из сборника Александрова) два стиха, столь откровенно не соответствующие принятой в остальной части стихотворения рифмовке, были вставлены позднее, после того, как был записан “общепринятый” текст. С одной стороны, данное обстоятельство снижает ценность вставки: этот единственный, этот общий всем копиям источник ее не поддерживается какими-либо иными; с другой же – может указывать на его авторитетность: именно он был признан наиболее аутентичным крупнейшими знатоками творчества Пушкина, к тому же имевшими возможность общаться со многими близкими знакомыми поэта.

Но что это за два стиха, столь не соответствующие структуре рифмовки стихотворения? Со знательную фальсификацию исходного текста мы исключаем: для подобного предположения у нас нет никаких оснований. Здесь мы опять вынуждены, за неимением данных, рассматривать несколько вариантов. Как представляется, наиболее вероятными из них являются два.

1. Вполне возможно, что перед нами результат одной из самых распространенных ошибок переписчика, который воспринимает текст на полях рукописи как вставку, тогда как на самом деле он имеет самостоятельное значение.

Если все было именно так, то, не рискуя ошибиться, можем утверждать, что послание создава-

лось в обстановке дружеского общения; сначала один или несколько человек, склонных к литературным упражнениям, сочиняют основной текст, затем кто-то, не успевший принять участия в этом сочинении, уже от себя вписывает на полях двустихие, обобщающее содержание основного текста, и тем самым выражает и свою солидарность с этим обращением к адресату и свои дружеские к нему чувства⁸.

2. Но если мы ошибаемся, и это двустихие все же было частью единого текста послания, факт его коллективного авторства становится практически неоспоримым: нет никаких оснований полагать, что хорошо владеющий русским стихом автор мог допустить столь очевидный сбой в рифмовке.

Мало того, “дефектные” строки делят текст стихотворения на две неравные части, выдержанные в разной тональности и существенно различающиеся по проблематике.

Первая часть (стихи 1–8) полностью укладывается в контекст лицейской лирики; вторая сочетает традиционные для нее мотивы с либеральной риторикой; этот тематический сдвиг задает именно непрофессиональное двустихие с парной рифмовкой.

И если так, то в создании стихотворения принимали участие, как минимум, двое, причем один из этих двоих, именно автор интересующего нас двустихия, не был искушенным стихотворцем. Разумеется, реконструировать ход работы над текстом не представляется возможным – и тем более невозможной оказывается атрибуция отдельных его частей. Однако одно суждение о его датировке высказать, кажется, возможно.

В самом деле, при каких обстоятельствах могло быть написано это ободрительное коллективное послание? Естественно предположить, что в ободрении нуждается человек, оказавшийся в затруднительной ситуации. В жизни Пушкина такая ситуация возникла в конце апреля 1820 г., когда судьба его могла круто измениться в самую неблагоприятную сторону. Мы практически ничего не знаем о его прощании с петербургскими друзьями, в том числе с лицеистами, перед отъездом на юг, однако вряд ли можем сомневаться в том, что это прощание состоялось, хотя бы и в узком кругу. Впрочем, нам известно, что Пушкина вплоть до Царского Села сопровождали Дельвиг и П.Л. Яковлев.

Вернемся теперь к статье Л.П. Гроссмана, в которой, как мы видели, утверждалось, что весь

⁷ Показательно, что М.И. Жихарев, который унаследовал архив Чаадаева и детально изучил его литературные отношения, в очерке, посвященном истории знакомства его с Пушкиным [36, с. 191–199], не упоминает о “Любви, надежды, тихой славы...”, “как будто бы такого и не существовало” [29, с. 250].

⁸ Совершенно невероятной представляется лишь теоретически допустимая атрибуция этого двустихия адресату основного послания: ему вручают текст, он тут же на полях набрасывает свой предельно краткий “ответ”, в котором лишь слегка варьирует тему послания, и возвращает листок обратно, вместо того чтобы оставить его у себя.

текст послания “К Чаадаеву” (1824) построен “на противоположении” стихотворению “Любви, надежды, тихой славы...”.

Доказывая данное утверждение, Гроссман ограничил свой анализ отрывком, начинающимся со слов “Чаадаев, помнишь ли былое?”.

Между тем, остается совершенно непонятным, почему мы должны игнорировать бросающуюся в глаза отсылку к “Любви, надежды, тихой славы...” в самом начале послания 1824 г.:

К чему холодные сомненья?

Я верю, здесь был древний храм.

Эти два стиха производят впечатление прямого ответа Пушкина на обращенное к нему послание, и ответа, в сущности, полемического. Перечитаем еще раз соответствующие строки “Любви, надежды, тихой славы...”:

Товарищ, верь: взойдет она,

Звезда пленительного счастья,

Россия вспрянет ото сна,

И на обломках самовластья

Напишут наши имена!

Отвечая автору или авторам этих строк и, прежде всего, видимо, Дельвигу, Пушкин, во-первых, грядущей свободе противопоставляет дружбу, пример которой хранит прошлое, в сущности, неподвластное движению времени: здесь и сейчас он пишет на камне имена друзей; во-вторых, смягчает полемику, признавая адекватность либерального восторга своему недавнему умонастроению (“Давно ль с восторгом молодым...”); в-третьих, вместо того, чтобы обратиться к Дельвигу как одному из основных создателей “Любви, надежды, тихой славы...”, Пушкин включает свою полемику в послание к Чаадаеву, которое помещает в “Отрывок из письма к Д. <ельвигу>”: в результате она оказалась надежно укрытой от непосвященных (если все было именно так, то появляется некоторое основание для предположения о том, что не только Дельвиг, но и Чаадаев присутствовал при создании или вручения “Любви, надежды, тихой славы...” адресату; не исключено, впрочем, что затеянная Пушкиным сложная игра с завуалированным ответом на это послание вообще не была рассчитана на восприятие Чаадаева, и один только Дельвиг должен был ее оценить).

Важно и другое: неожиданно проясняется смысл пушкинской мистифицирующей датировки послания к Чаадаеву, написанного в 1824 г., когда Пушкин вполне уже разочаровался в “идеалах декабризма”, но датированного им 1820-м г., возможно, именно для того, чтобы оно произвело на посвященных впечатление прямого ответа на “Любви, надежды, тихой славы...”.

* * *

Подведем итоги. Во-первых, поскольку атрибуция “Любви, надежды, тихой славы...” Пушкину в настоящее время не может быть обоснована с необходимой степенью доказательности, целесообразно вернуться к практике печатания послания в том разделе изданий его сочинений, который обычно называется “Dubia”. Во-вторых, поскольку адресат стихотворения не может считаться твердо установленным, целесообразно отказаться от заглавия “К Чаадаеву”. В-третьих, поскольку мы не располагаем данными, достаточными для уверенной датировки пьесы, разумно было бы отказаться от жесткой привязки его к 1818 г. и комментировать его, имея в виду более широкий временной диапазон (1818–1820).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 20 т. Т. 1. СПб., 1999. Т. 2: Кн. первая. СПб., 2004.
2. Модзалевский Л.Б. Примечания // Пушкин <А.С.> Письма: Том III: 1831–1833 / Под ред. и с примеч. Л.Б. Модзалевского. <М.; Л.:> Academia, 1935.
3. Вацуро В.Э. Из литературных отношений Баратынского // Русская литература. 1988. № 3.
4. Вацуро В.Э. Бестужев-Рюмин Михаил Алексеевич // Русские писатели: 1800–1917: Биографический словарь: <Т.> 1: А–Г. М.: Советская энциклопедия, 1989.
5. <Бестужев-Рюмин М.А.> Следствие комедии “Горе от ума”: Письмо четвертое: А.А. Чацкий к Лестову // Сириус: Собр. соч. и переводов в стихах и прозе: Издано М.А. Бестужевым-Рюминым: Книжка первая. СПб.: В типографии Медицинского департамента Министерства внутренних дел, 1826.
6. Северная Звезда: 1829. Издание М.А. Бестужева-Рюмина. СПб.: В типографии Х. Гинца, 1829.
7. Пушкин в печати. 1814–1837. Хронологический указатель произведений Пушкина, напечатанных при его жизни. Составили Н. Синявский и М. Цявловский. Изд. 2-е, исправленное. М., 1938. (Русская пушкиниана. Вып. 1).
8. Гофман М.Л. Пушкин: Первая глава науки о Пушкине. Пб.: Атений, 1922.
9. Гофман М.Л. Пушкин и Рылеев // Недра: Литературно-художественный сборник. Кн. 6. М., 1925.
10. Пушкин А.С. Соч. Л.: ГИЗ, 1924.
11. Цявловский Мстислав, Цявловская Татьяна. Вокруг Пушкина / Изд. подг. К.П. Богаевская и С.И. Панов. М.: Новое литературное обозрение, 2000.
12. Гроссман Леонид. Пушкин или Рылеев? // Недра: Литературно-художественный сборник. Кн. 6. М., 1925.
13. Пушкин <А.С.> Полн. собр. соч.: Т. 1–17 <М.; Л.:> 1937–1959.
14. Пушкин <А.С.> Соч. СПб.; Л., 1900–1929. Т. I–IV, IX, XI.
15. Сочинения и письма А.С. Пушкина / Под редакцией П.О. Морозова: <В восьми томах>. СПб.: Кни-

- гоиздательское товарищество “Просвещение”, <1903–1906>.
16. *Пушкин А.С.* Полн. собр. соч.: В десяти томах / Под общей ред. Д.Д. Благого, С.М. Бонди, В.В. Виноградова, Ю.Г. Оксмана. М.: ГИХЛ, 1959–1962.
 17. *Гофман М.Л.* Пушкин: Первая глава науки о Пушкине: Издание второе, дополненное. Пб.: Атеней, 1922.
 18. *Смирнова-Россет А.О.* Дневник. Воспоминания / Изд. подг. С.В. Житомирская; Отв. ред. В.Э. Вацуро. М.: Наука, 1989 (Серия “Литературные памятники”).
 19. *Щербачев Ю.Н.* Приятели Пушкина Михаил Андреевич Щербинин и Петр Павлович Каверин. М., 1913.
 20. *Скаковский И.Г.* Пушкин и Чаадаев (К вопросу о датировке и трактовке послания Пушкина “К Чаадаеву”) // Пушкин. Исследования и материалы. Т. VIII. М.; Л.: Наука, 1978.
 21. Полярная Звезда на 1856 <год>, издаваемая Искандером: Книжка вторая. Лондон: Вольная русская книгопечатня: 82 Judd street, Brunswick Square, 1856.
 22. *Герцен А.И.* Собр. соч.: В тридцати томах. М.: Изд-во АН СССР, 1954–1966.
 23. Русская потаенная литература XIX столетия: Отдел первый: Стихотворения: Часть первая: С предисловием Н. Огарева. Лондон: Trubner & Co., Paternoster Row, 1861.
 24. Стихотворения Александра Пушкина. СПб.: В типографии Департамента народного просвещения, 1826.
 25. Стихотворения Александра Пушкина: Первая Часть. СПб.: В типографии Департамента народного просвещения, 1829.
 26. *П.<ушкин> А.<С.>* К Ч.<едаеву> // Северная Пчела, 1825. № 12.
 27. Материалы для академического издания сочинений А.С. Пушкина / Собрал Л.Н. Майков; Ред. В.И. Сaitов. СПб.: Типография имп. акад. наук, 1902.
 28. *Пугачев В.В.* К датировке послания Пушкина “К Чаадаеву” // Временник Пушкинской комиссии: 1967–1968. Л.: Наука, 1970.
 29. *Оксман Ю.Г., Пугачев В.В.* Пушкин, декабристы и Чаадаев. Саратов: Редакция журнала “Волга”; ИКД “Пароход”, 1999.
 30. Лирика лицейстов / Вступ. ст., сост. и примеч. А. Утренева. М.: Художественная литература, 1991.
 31. *Дельвиг А.А.* Сочинения / Сост., вступ. ст., коммент. В.Э. Вацуро. Л.: Художественная литература, 1986.
 32. *Вейс А.Ю.* Петр Колошин – автор послания “К артельным друзьям” // Литературное наследство. Т. 60. Кн. первая: Декабристы-литераторы: <Ч.> II: Кн. первая. М.: Изд-во АН СССР, 1956.
 33. *Нечкина М.В.* Священная артель. Кружок Александра Муравьева и Ивана Бурцова 1814–1817 гг. // Декабристы и их время (материалы и сообщения) / Под ред. М.П. Алексеева и Б.С. Мейлаха. М.; Л.: АН СССР, 1951.
 34. *Ильин-Томич А.А.* Колошин Петр Иванович // Русские писатели: 1800–1917: Биографический словарь: <Т.> 3: К–М. М., 1994.
 35. *Калантырская И.С.* П.И. Колошин и “Священная артель” // Литературное наследие декабристов / Ответственные редакторы В.Г. Базанов, В.Э. Вацуро. Л.: Наука, 1975.
 36. *Жихарев М.И.* Петр Яковлевич Чаадаев: Из воспоминаний современника // Вестник Европы. 1871. Кн. VII.